

Александр Андрюхин

Блуждание в потьмах

пятая книга стихов

Львиную долю в книге занимают автобиографические стихи поэта, его впечатления от трудовых будней на море, в тайге, в нефтеразведке. Земная жизнь, по мнению автора, — это блуждание впотьмах, поскольку человек живет с ущемленной памятью и в полном неведении того, что уготовано ему судьбой.

КОЛУМБ

Седьмую неделю душа на пределе,
да ширь океана, да свисты в ушах.
Еще я не канул, легко мне и вольно —
блуждаю меж волн я,
как бродят впотьмах.

Моя королева, моя каравелла
не жаждет покоя, врезаясь в волну!
Не жаль за спиною мне Старого света,
похожего цветом скорее на тьму.

Все эти недели фок-мачты скрипели.
Я — рыцарь распутия. Пусты мои сны.
Могу я поклясться:
плыву не за счастьем —
ищу новый путь я из этой из тьмы.

Моя королева, матрос мой, Марчелло,
кричал обалдело, надравшись весьма:
«Ни Нового нету, ни Старого света —
один только свет, и одна только тьма».

Свалился он с мачты, матрос мой.

Не плачьте!

Их доля жестока, мыслителей слуг.
А если и вправду Земля круглобока,
то путь мой без Бога —
как замкнутый круг.

А если и вправду Земля без окраин —
мой путь нескончаем, и мрак мой нелеп.
Найдем по приметам дорогу мы к свету,
лишь мир бы от света потом не ослеп.

ПОРТ

Кто любит трубы заводские,
а я порты люблю морские,
где соль и ветер, чайки и
качает мирно у причалов
антенны, мачты... И «Качалов»
белеет трубами в дали.

Знобят рассветные туманы,
бубнят лебедки, как шаманы,
волнение в море, в небе чад.
Буксиры лихо к пирсу чалют,
и шины по бокам качает,
и цепи брашпилей звенят.

Причалы в трапах и раскатах,
и запах моря, рыбы запах,
и кранов — в лоскуты — флажки,
и по волнам шныряют чайки,
и бич в засаленной фуфайке
кричит: «Здорово мужики!»

Встает над морем и над миром
светило. Парень в кепке «Вира!» —
кричит. И краны-пауки
«эстэшки» трюм бесцеремонно
опустошают. И влюблено
мальцы глядят из-под руки.

На барже шкипер чинит сети.
Береговой матрос в берете
ругает баржу на мели.
И гложет сердце грусть причалов.
В последний раз гудит «Качалов»
и растворяется в дали.

ПЕЧАЛЬ

Храни тебя, моя печаль,
храни меня! Я уплываю.
На судне спят, и пуст причал —
концы рублю, печаль скрываю.

Прибой беснуется, штормит,
тебя штормовкой укрываю.
Прощай! Печаль не сохранит,
а я, как видишь, уплываю.

Храни меня, не дай забыть!
В каких мирах твой дух растает?
К тебе всю жизнь я буду плыть,
а доплыву ли вот, кто знает?

Храни тебя, моя печаль!
Печалюсь сам, тебя печалю.
Хоть жизнь мою всю измочаль —
к тебе (уж знаю) не причалю.

ВО ДВОРЕ

В одном замызганном дворе
(как не припомню, так всегда)
все та же дамочка в окне
печально смотрит сквозь года.

Она прекрасна, и порой
зовут глаза ее, искрясь.
А этот двор зовут дырой:
повсюду сырость, плесень, грязь.

А я здесь жил, а я здесь рос,
а я сорвался в никуда,
но из окна немой вопрос
меня преследовал всегда.

А дворик нем, а дворик глух —
обитель слизней и червей.
В нем не роняет тополь пух,
поскольку нет в нем тополей.

Окликнут дамочку — она,
вздыхнув покорно, отойдет,
и штора будто пелена
за ней устало упадет.

А я гляжу, гляжу в упор
на штору бравым молодцом
и понимаю, этот двор
несовместим с ее лицом,

как грезы детские с судьбой,
как с высью сиренькая твердь,
как голова сама с собой,
что совмещает жизнь и смерть.

А я устал. Душа молчит.
Я стар, угрюм... Я не в себе.
А тут и время не журчит,
и та же дамочка в окне.

ИЗ БИБЛЕЙСКОГО СЮЖЕТА

Устав от «христаради»
и внеземных начал,
всю жизнь бредущий к правде,
я правду повстречал.
Она, как тень Фемиды,
бродила, ворожа.
У лжи глаза открыты,
на правде — паранджа.
Я рвал мирские сети,
я не хмелел с вина,
я верил, есть на свете
прекрасная она.
Теперь почти сгоревший
на правду я гляжу.
Но ветер налетевший
откинул паранджу.
Устав от «христаради»,
не веря в свой финал,
всю жизнь бредущий к правде,
я правды не узнал:
костлява и прыщава,
с ужимками зверька.
Я знал, что ложь слащава,
а истина горька.
Но что скажу, вернувшись,
тем людям у реки?
И правда, усмехнувшись,
ответила: «Солги!»

ЗАПРЕТНАЯ МЕЧТА

Я мечтаю о запретном,
я мечтаю о Париже.
В сером дыме сигаретном
Сен-Луи и Сену вижу.
Жизнь пустеет, как канистра.
«Се ля ви!» — кричат бесстыже.
Кто мечтает быть министром —
я мечтаю быть в Париже.
Я мечтаю дни и ночи,
как издатель о Пегасе,
как об отпуске рабочий,
как грабитель о сберкассе.
Кто-то ищет и находит,
кто-то бьет статьями в массы,
кто-то конкурсы проходит —
мне б пройти по Монпарнасу.
Кто-то спорит, кто-то судит,
кто-то шефу пятки лижет,
кто-то вдруг выходит в люди,
мне бы выйти там, в Париже.
Поезда без нас умчатся —
от досады мне не спится.
Торгаши в Москву стремятся,
а поэты — за границу.
Под запрет возводят стену,
но от грез не знают средства.
Как впадает Марна в Сену,
так и я впадаю в детство.

ТАЛЛИНН

Старый Таллинн, строгий Таллинн —
черепицей башни крыты.
Помнят смутный дух баталий
крепостные эти плиты.

Капли шлепают, местами
об асфальт звеня эффектно.
Бродят люди под зонтами,
над зонтами — беспросветно.

В скверах тихо и безлюдно,
замки ввысь глядят опрятно.
И бродить под ними чудно,
и глядеть на них приятно.

Старый Таллинн, строгий Таллинн —
крыши зеленью увиты.
Не встречал я здесь Наталий,
здесь одни сплошные Риты.

В узких улочках, где ставни
глухи и где солнце чахнет,
укрывают камни тайну
и уютно кофе пахнет.

Шпили башен и костелов
небу вспарывают брюхо.
О надоях и отелах
не уловит в баре ухо.

От органичных откровений
из-под тучи в дрожь бросает,
и весь дух их устремлений
в объектив мой не влезает.

Старый Таллинн, строгий Таллинн —
тащит вечностью нервозно.
По «бульжке» ходят крали
не спеша и грациозно.

Вслед — пижоны в джинсах узких,
в куртках финских и японских.
Воробьи клюют по-русски,
а щебечут по-эстонски.

Старый Таллинн, строгий Таллинн —
по асфальту капли лупят.
Здесь от центра до окраин
суеты мирской не любят.

ЧЕРТОВКИ

О дьявол, как они прекрасны,
чертовки, на морских причалах,
когда суда, хрипя от астмы,
заходят в порт на самых малых.

Не стоит, братцы, строить «планов»
в портах кубинских и бразильских
среди маек, солнца и бананов,
среди пальм и бедер исполинских!

В какую райскую планету
вы гнали судно наше, норды?
Моряк, готовь свою монету,
монеты нету — топай к черту!

Моряк, о чем у кнехта стонешь,
не утонувший, не пропавший?
Еще и чалки не подавший,
уж с головой бесславно тонешь

в духах и вздохах, тут, на суше.
Моряк, забудь моря и страны,
сойди и выверни, как душу,
свои матросские карманы!

За плечики, хмельные губки,
что постоянно наготове.
«Отдать концы!» — кричат из рубки.
Конец! Как много в этом слове.

Моряк, мы в океане мошки
и в жизни этой, что не ново.
Да-да, сначала были ножки,
потом уж, вероятно, слово.

Но слов уж нет! А, будто дьявол,
пятьсот ударов есть в минуту.
Моряк, ты слишком долго плавал,
чтоб не спустить на дно валюту.

Чтоб в кабачке, под звон и шашни,
не поразмыслить о началах.
О дьявол! Как они изящны,
чертовки, на морских причалах.

КУПАНИЕ В ШТОРМ

А волны в дамбах нерестятся,
на сваи прут, как на панели.
Пожалуй, нужно искупаться —
есть шанс не умереть в постели.

Макушкой целюсь с парапета
в те волны самые лихие.
Звени, башка моя, монетой,
бушуй свободная стихия!

А волны бьют по перепонкам,
швыряя тело зло и ловко.
А вдруг и вправду о бетонку
шарахнут с маху бестолковкой?

Я отбиваюсь неумело,
как бледный Брут от тирании;
свое беспомощное тело
теряю в бешеной стихии.

О, Посейдон, морской бездельник,
тебе ль внимать земному гвалту?
О, если выберусь на берег,
пожалуй, не поеду в Ялту!

В СКАФАНДРЕ

Я облачен, как динозавр,
в тяжелый, кованный скафандр
и погружаюсь в воду.
Сжимает шею и бока,
но мне достаточно пока
в скафандре кислороде.

Темнеет. Быть большой беде.
На судне спят, как псы в суде.
Зевают кэп элитный.
То явный признак и намек
на полдник. Кэпу невдомек,
какой я беззащитный.

У кэпа в голове одно:
«Познавши высь, познай и дно,
тогда и суть познаешь».
А я веселый, как Менандр,
ругаю собственный скафандр,
но глух и нем товарищ.

Вживаюсь с кровью в глубину,
как Вертер в слезную луну, —
судьбы не выбирают!
Но сводит нервно мышцы скул,
когда клыки больших акул
невинных раздирают.

И трудно кулаков не сжать,
и невозможно удержать

себя в глухом скафандре.
И в пальцах кровь зудит вожжей,
но океан такой чужой,
как Троя при Кассандре.

Вонзив в акулье брюхо нож,
я пропаду здесь ни за грош,
земной, нездешний родом.
Акулы кинутся ва-банк,
и крабы перережут шланг
с проклятым кислородом.

Потом на палубу струной
положат то, что было мной,
псалмы прочтут верлибром.
И тело хрупкое мое,
размытое, как мумие,
закинут в море рыбам.

И скажет кэп свои слова:
«Слабы нервишки, господа!
Куда нам со слюнями?
Беда на всех у нас одна.
Блаженны те, кто твердость дна
нащупает ступнями!»

ТУМАН

Засыпает океан.
Только судно и туман:
наше судно, наши судьбы,
да упрямый капитан.

Прозеваешь, говорят,
и мгновенно протаранят.
Оттого в таком тумане
так отчаянно гудят.

Брось же линзы, капитан!
Посмотри, какой туман.
Даже палубы не видно,
где уж даль увидеть нам?

Впереди сплошной туман,
позади сплошной туман,
сорок тысяч лет в тумане,
как с органом Иоган.

Если б можно на таран
это пенище обмана —
выплываем из тумана,
но всплываем вновь в туман.

Где ты, эхо дальних стран?
Заржавел в тумане пеленг.
Должен быть по карте берег,
наяву — сплошной туман.

Где же берег, где суда,
где причальное свечение?
Может, все воображение,
может, нету ни черта?

Впереди сплошной туман,
позади сплошной туман.
Пусть уж лучше протаранят,
чем узнать, что все обман.

ПРИТЧА

Где сливаются море с тучей,
там Голландец парит летучий
триста лет.

Если встретишься с ним сегодня,
то считай, что в самую исподню
взял билет.

«Не тревожьте тот призрак спящий!»
Что же пульс твой, вперед смотрящий,
учащен?

Только кэп наш лихой и смелый
(непогодой и пеной белой
окрещен)

осмеял болтуна-матроса,
за борт выплюнул папиросу,
встал к рулю:

— На флакон я поспорю виски,
если будет Голландец близко —
сбить велю!

Волны стонут и сыплют градом,
растекаясь по баку гадам
и слюной.

Тучи виснут над морем низко,
призрак где-то, должно быть, близко
за спиной.

Волны катят на рубку валом,
но бравивирует за штурвалом
капитан.

Море будто бы ошалело,
старый боцман белее мела:
— Эх, братан!

Но забился матросик в бочку.
Ну и выдала, рухлядь, ночьку —
вот и ты!

— Где фальшфейеры, где ракеты?
И рука дурака при этом
рвет «кранты».
Надавил на гашетку палец,
встрепенулся ночной Голландец —
в трюме писк.
Стало весело, жутко стало!
Но хлестнуло последним валом —
судно вдрызг!

Волны неба размыли кромки,
океан, расшвыряв обломки,
отревел.
Зацепиться за плот не в силах,
старый боцман на энных милях
прохрипел:

— Не тревожьте тот призрак спящий!
Между тем, он, как смерч свистящий,
уходил.
Цвел рассвет, засыпало море,
только плот, с океаном вздора,
ПЛЫЛ И ПЛЫЛ.

ШТОРМ

Штурман бледен, руль, как бредень,
винт рокочет и визжит,
моторист блестящ и черен,
боцман мрачен, как Печорин,
только кокша — как Брижжит.

Кэп, естественно, брюзжит,
практикант пластом лежит.

С Борей в трюме мы от бури
схоронились и молчим.
Буря Борю мелом кроет,
Боря бурю тем же кроет,
сейнер бьется, сейнер стонет,
словно он тоской точим.

Небо мглою шизыряет,
сельдь за пазухой шныряет,
кнехт на палубе швыряет,
и мутит — ни сесть, ни встать.
Вспомнишь пристань, Волгу, Каму,
глушь-Саратов, Харе-Раму,
вспомнишь собственную маму
и еще там чью-то мать.

Слушай, Боря! К черту море!
К черту импортный отель,
кофе наспех, чаек, Каспий...
Я не есть дас айн коктейль.

Кэп угрюмый, как Фидель,
рулевой хмельной, как эль.

Так шарахнуло по рубке,
что блеснул в глазах топаз.
Боцман в рубке скалит зубки,
отпускает боцман шутки:
— Если течь — бегите к шляпке,
я останусь пить компас.

Сколько ж дури в непогоде,
но стихает ветер вроде.
По своей шальной природе
я не трус. И в том клянусь.
Будет буря — мы поспорим,
будет Боря — мы повздорим,
будем живы — не потонем,
а потонем — ой, напьюсь!

ЕЛЕНА

Волны вырвались из плена,
волны бесятся у скал.
Я украл тебя, Елена, —
и не каюсь, что украл.

Только лодки старый остов,
да волнами плес размыт,
да забытый богом остров —
слава богу, что забыт.

Таем в море беззаботно
да валяемся в песке.
Слава богу, что ни бота,
ни моторок вдалеке.

Ах, Елена... Пала Троя...
Шепчешь: «Нет моей вины.
Милый, слишком много зная,
хоть бы капельку луны...»

И стремглав в одежде Евы
убегаешь, хохоча.
Скалы справа, море слева,
чайки бесятся, крича.

Только брызги, как стекляшки,
бьют по знойному бедру,
только светлые кудряшки
и веснушки на ветру.

Только волны, только ветер,
край земли, любви края.
Сладко жить на этом свете,
шоколадная моя!

Зной спадет, наступит стужа,
плес покроется ледком.
Я к жене вернусь, ты — к мужу,
только это все потом.

А пока наш дом — палатка
на песке у самых скал.
Неужели, чтоб украдкой
я любить тебя украл?

ЗА ШТУРВАЛОМ

Третий час. Старпом, как сыч —
пьян, и нос картошкой.
Сон-река, буксиров клич,
звездная дорожка.

Моториста храп в ночи,
в рации шипенье.
Отмерцали толкачи,
как одно мгновенье.

Рулевой не сводит глаз
с пассажирки Вали.
Звезды в небе, а у нас
блики на штурвале.

Всюду свет, (печаль гони!)
всюду жизнь искрится:
там, на бакенах, огни —
отблески на лицах.

Эту ночь Платон латал —
мироздания отпрыск:
«Жизнь, должно быть, где-то там,
наша — только отблеск».

Смотрят звезды из реки —
звездное вожденье.
Если светят маяки,
будет отраженье.

Что там плещется? Не тронь!
Друг, ты слышишь отплеск?
Веришь ли ты в свой огонь,
а не в чей-то отблеск?

Третий час. Ни дум, ни дам.
Тьма. И ни словечка.
Шпарит омик по волнам,
как по Млечной речке.

МАРТ

На стекле тебя рисую.
Ночь, прохлада, март.
Тихо дни свои тасую,
как колоду карт.

На стене молчит гитара,
каплет на карниз.
Месяц желтый, словно фара,
грустно смотрит вниз.

Жду тебя. Грущу, тоскую —
не хочу пропасть.
Снова дни свои тасую,
но опять не в масть.

Где ты бродишь, божья львица,
в оголтелый март?
Я твой самый верный рыцарь
и твой вечный бард.

Дни здесь тащатся, как годы,
тикают часы.
Верно, кто-то из колоды
выкрал все тузы.

На стене молчит гитара
и допит бокал.
Про тебя знакомый «ара»
что-то намекал.

Я обмяк, как след от лыжи,
я пушусь в бега.
Знаешь, с детства ненавижу
шлепать в дурака.

Из кофейного гаданья,
по созвездью карт
ты — апрельское создание,
а в окошке — март.

ОТТЕПЕЛЬ

Давай по улицам побродим!
Побродим, как бродили встарь.
Капель с ума прохожих сводит,
собак бездомных за нос водит.
Рехнуться — на дворе январь.

Давай попрыгаем по лужам,
давай отбросим все дела!
Вчера стеной стояла стужа,
метелью площади утюжа, —
сегодня площадь поплыла.

И каждый день домой с завода,
из дома снова на завод.
А жизнь течет себе, течет —
река бездонная забот.
Давай пойдем, поищем брода!

И каждый день из клетки в нору,
и снова в клетку из норы.
Нам в детстве ввали про миры,
про острова, моря и горы.

Пойдем! Печаль свою развеешь —
задушит чертова нора.
Капель талдычит мне с утра:
«Пора уматывать — жиреешь...»
Пора... Я знаю, что пора...

Весной отбуду. Будешь плакать
и вновь печалиться и ждать,
и вечно будут дождь и слякоть
меня в пути сопровождать.

Терпенье сердца на исходе
под радостный капли пляс.
Ждут поезда мой светлый час.
Весны б дожждаться... А сейчас
давай по улицам побродим!

НЕЖНЕЙ ФУФАЙКИ

Никогда я не был в Магадане
ни транзитом беглым, ни этапом,
ни туристом мирным, словно атом,
ни в ином каком-то, скажем, плане.

Не носил я зековской фуфайки,
не платил за вирши неустойки.
Там наверно мизерные пайки,
и наверно бройлерные стройки.

О судьба, ко мне ты благосклонна,
о фортуна, не всегда ты задом!
Разве я на Кремль смотрел влюблено,
иль по древку растекался гадом?

Или ветер не был мне братаном,
или пел трибунным папам оду?
Не грозят мне больше Магаданом —
не любезен, видно, стал народу.

Видно, сдал. Не рву уже канаты
грудью и за гадость той же платой
не плачу, но красные палаты
я сверяю с чеховской палатой.

И сверяю зековские байки
с пушкинскими одами, как ране.
И мечты мои нежней фуфайки,
но грубей не запряженной лани.

ОТКРЫТИЕ НАВИГАЦИИ

Как орган, гудки завывали,
и причал — как обелиск.
Навигацию открыли,
льды в порту разбиты вдрызг.

Нараспашку с чалкой Боря —
ожил! Маня слезы льет.
Рыбаки уходят в море.
Море манит и зовет.

На причал сбегутся дети
на матросов поглазеть.
В море ветер, в сердце ветер,
да не штопаная сеть.

Новый сейнер на приколе:
не удержишь, не моги!
Рыбаки уходят в море,
а их жены в кабаки.

Нас путина, словно тина,
засосет на сто недель.
В море льдина, в сердце льдина,
а в глазах блестит капель.

ВОЛНЫ

Что ты бьешься дикой ланью
в гребешках шальное племя?
Понимаю, нежеланье
по теченью плыть все время.
Месяц ясен и подкован,
и в оградах околоты.
Город в камень сплошь закован,
люди — в вечные заботы.

Что волнением ты добьешься?
Лишь обрушишь два обрыва,
по лужайкам разольешься,
усмехнувшись поймам криво.
Станешь тихо тухнуть хеком,
вспоминать журчанье гусли
и завидовать тем рекам,
что текут в свободном русле.

Но ОНИ придут в коттоне,
чтоб вонзить под ребра сваи.
Станет берег сплошь в бетоне,
как в цветах деревья в мае.
Месяц мудрый, месяц ясный
усмехнется сверху снова —
как ты снова в берег грязный
будешь биться бестолково.

МАТРОС

Был волком, теперь обивает причал,
где цепи, как лавры.
«Отдайте концы! — кто-то в рубке кричал. —
Концы, а не швабры!»

Когда-то на сейнер прислали юнца:
на палубе драя,
он думал, не будет путине конца
и гиблого края.

Окончил путину, вернулся домой —
ни славы, ни денег.
Просолен, прокурен, обвенчан с волной,
да списан на берег.

С чем жизнь провожать?
Сплошь и рядом вода —
сквозь пальцы проходит.
Уходят в открытое море суда —
все в мире уходит.

Приходит лишь он посмотреть на улов
в рыбацкой печали.
И даже когда никаких сейнеров —
стоит на причале.

Стоит молчаливо, устав проклинать
и море, и сушу.
Всего лишь концы попросили отдать,
концы, а не душу.

ПРОГУДЕЛ ТЕПЛОХОД

Прогудел теплоход у причала прощально.
Моросит. И простудой разит от песка.
По-швейцарски уныло, по-шведски печально,
по-отечески в горло вцепилась тоска.

Отступает волна, подступает досада,
наплывут вечера, уплывут облака.
По-французски — увы,
по-голландски — так надо,
а по-нашему проще — уносит река.

Шелестенье уходит, приходит несмелость.
Если в небо потянет — воззрим к образам.
Хоть туман по-британски выпячивал челюсть,
но по-русски платок подносили к глазам.

ДЕРЕВУШЕЧКА

В забытой деревушечке
жила-была старушечка —
на шее с колокольчиком
ходила по дрова.
Звенел он все, позванивал,
с ветвей дремучесть страгивал:
«Пока звенит, родименький,
все слышат — я жива...»

Домушки опустевшие,
сарайчики истлевшие,
луга никем не скошены,
дорога не клубит.
Завалинки подгнившие,
листва шуршит налипшая —
кладбищенское нищенство:
«Пуцай его звенит...»

Окошки закрестованы,
углы все расхристованы,
в часовне ворон каркает,
и колокол молчит.
В набат ударить некому,
вонзить бы пятки пегому...
Россия замогильная —
жива, пока звенит!

Я оглянулся — Господи! —
в лесу березы проседью,
а вместо колокольчика
дыханье сон-травы,
и хрипота Володина...
Да что с тобою, Родина?
Все более могильщиков,
а гамлетов — увы.

По ком молились — вымерли,
кого любили — выперли.
Горчат дворы полынные,
и щи на вкус кислят.
Внизу калоши шаркают,
вверху вороны каркают.
Когда вороны каркают,
колокола молчат.

Не умирай, сердешная!
Вся жизнь твоя безгрешная
скривится от ничейности
и душу искривит.
Уж нет той деревушечки,
и нет давно старушечки.
Жива ли Русь сердешная?
Жива... Пока хрипит.

ВСТРЕЧА

Узнал его из тыщи,
он плыл по Иртышу:
— Ну, как живешь, дружище?
— Живу, пока глушу!

На палубе, матрося,
в лицо ему брюзжу:
— Стихи писать не бросил?
— Пишу, пока глушу.

Одеколон грошовый,
две луковки и хлеб.
— Заметно, что глушенный,
но ты еще и слеп.

— К чему глаза и уши,
когда нельзя дышать?
И если жизнь оглушит,
осталось — заглушать.

— Винты в башке витают! —
кричу его богам. —
Стихи твои читают
и ходят по рукам.

В паскудном этом мире,
где делят барыши,
что ищешь тут, в Сибири?
— Души, браток, души.

На палубе, матрося,
не стал я возражать.
— Так ты писать не бросил?
— А можно ль не дышать?

Поплыл куда-то катер
вперед по Иртышу.
Он просигналил:
— Кстати,
дышу, пока глушу.

В ОЖИДАНИИ ПОЕЗДА

Жду поезда, лежу в траве
какой-то станции забытой.
Две ивы никнут к голове,
и облаков на небе свита.
А воздух славный, чудный день!
Колеса в прошлом отстучали.
Мне хорошо, я нем, как пень,
я жить хочу, долой печали!
Жду поезда: он задолжал
мне славные часы полета.
Его полжизни я прождал,
прожду всю жизнь еще чего-то.
Он прилетит, как сотня гроз,
громоздкий, нервный от истерий.
Еще я молод, как Христос,
еще в добро, как Павел, верю.
Он прилетит, огнем дыхнет,
сломает грусть мою, как призма,
и в пыльный город увезет,
как в неизбежность коммунизма.
Но насекомых слышу зуд,
вокруг шуршат, звенят, летают,
все будто тоже что-то ждут,
а, может быть, и выжидают.
Ползет букашка по плечу,
и хор стрекоз так славно дружен.
Мне хорошо. Я жить хочу.
На кой мне поезд этот нужен?

ВАЛЕНТИНУ СИДОРОВУ

Листва под ногами. Осенние гнезда
покинули птицы. Звенят провода.
Бредем с рюкзаками — дорога и звезды,
дорога и звезды — и так бы всегда!

Листва и поляны, кусты, буреломы,
меж веток пространство, в оврагах вода.
То марш по оврагам, то снова подъемы,
подъемы и звезды — и так бы всегда.

Дорога и небо, и мы где-то между —
устали, продрогли, но это ль беда?
Конечно, нас ждут и конечно, — с надеждой,
надежды и звезды — и так бы всегда!

Дойдем до деревни — собаки облают,
и кто-то сострит: «Не споткнись, борода!»
Но если споткнусь я, плечо мне подставят,
плечо мне подставят — и так бы всегда!

И падают листья, и дали разверсты,
и птицы курлычут: «Куда вы, куда?»
Бредем с рюкзаками — дорога и звезды,
дорога и звезды — и так бы всегда!

КОСТЕР

Сидим у костра в болотах:
куда нам теперь, куда?
Живем мы в таких широтах,
где вечно в кирзах вода.

Дружище уснул, но круто
бок о бок с моим плечом
костер трепетал, как будто
поведать хотел о чем.

Он тьму раздвигал, как Воланд,
и был на язык остер.
Да чем ты, костер, взволнован,
встревожен чем так, костер?

Ты ветки свои смакуешь,
я душу в ногах протер.
О чем, голубок, толкуешь,
что хочешь сказать, костер?

Мы с другом не ищем клада,
ни сеем по свету зло.
Советов, костер, не надо,
нам надо твое тепло.

Наутро ушел дружище
и сгинул навеки он.
И черной дырой кострище
зияло как страшный сон.

РЫСЬ

Я — рысь.
Обожаю высь,
свободу и густые лесины.
Не терплю и запаха псины.

Эй, брысь,
слащаво мурлыкающие в тепле,
за блюдце молока продавшие себя!
Если кто и гуляет сам по себе,
так это я —
рысь.

Жить — страх!
Лишь неверный мах,
и прощайся с деревьями, высью и лихостью!
И пусть свободу называют дикостью:
ой, как зрочки в темноте разгорятся,
кто расхрабрится со мной повстречаться?
Брысь!

Мир — зол.
Лишь собак произвол,
да охотники ходят, по ветвям стреляя,
с ними шавки и моськи, хвостами виляя
Для того, чтоб служить — собираются в стаи,
а я — рысь.

Хоть взвой
над звериной тропой.
Да, свобода жестока и век одинока,

сворой легче и сгинуть впотьмах, и прожить,
но поскольку вы скроены все из порока,
никогда, ни за что вам не стану служить.

Так прощайся, охотник, или остановись!
Я — рысь.

ДВОЕ В ТАЙГЕ

Мы просеки рубим. Скверно.
За нами — кусты-скелеты.
Серегу ступает первым —
я ставлю за ним пикеты.

Медвежьи следы мелькнули,
сомкнулись кусты, зверея.
В серегиной «тулке» пули,
в моей голове хореи.

Вбиваю пикет... Берлога!
Замри у кустов мгновенье!
Но что это вдруг с Серегой?
Тропою рванул оленьей.

Роняю пикет... Серьезно
ты думал, пойдут за нами?
Серегу, еще не поздно,
назад напролом мотаем!

Ни троп, ни зарубок. Амба!
Мы сбились. Осип мой голос.
В пути растерялись ямбы,
Серегу посеял компас.

Судьба ли в смешки играет,
кодует ли рок безбожно?
Куда мы идем? Кто знает,
где истинный путь, где ложный?

Что просека наша, Серый!
Важнее — пойдут ли следом?
На веру наш путь, на веру,
а вера так схожа с бредом.

В раздумье бредем и поте,
на карте — сплошные мифы.
Топор утонул в болоте,
но выплыли брюхом рифмы.

Где истинный путь, Серега?
Я выдам, хоть он невидим,
на тему еще «дорога»...
Ну... если к дороге выйдем!

БЕЛАЯ НОЧЬ

Сизый сумрак. В тайге тишина.
В речке рыба играет.
И на кляксу похожа луна,
и костер догорает.

Мой дружище, писать не могу.
В эту жизнь, ты же знаешь,
если просто не впишешь строку,
значит, кляксу поставишь.

Не кропаю я в рифму давно,
не мурлычу в миноре.
Будет свет, если будет тепло,
и прозрение от боли.

Будет устье, коль найден исток,
через сто новолуний.
Я болею стихами, как Блок,
и тоскую, как Бунин.

Снова тропы и топи зовут —
у преддверья кукую.
Не бывает свободы без пут,
так чего же тоскую?

Верю в чудо и в добрую весть,
верю звездам и листьям.
Может, светлые ночи и есть
чьи-то светлые мысли?

МНЕ СНИЛСЯ СУЗДАЛЬ

Мне снился Суздаль за день до того...
(Я никогда в нем раньше не бывал,
но если буду вдруг, найду легко
тот крест могильный...

церковь, башню, вал).

Я был встревожен, таяла свеча:
с полей к воротам завтра побегут
детишки, девки, старики, но тут
нагонят всадники их, жадно хохоча.

И будет тяжело на вал бежать,
сквозь копоть и толпу смотреть на свет.
Татары дев арканить станут вслед
и бить плетью, и стрелы запускать.

Мне снился Суздаль за день до того:
темнело в келье, пахло сон-травой,
белели площадь, колокол с ветлой;
на стенах стража, а внизу с сумой
слепец, могильный крест...

И каково
мне было знать, что завтра будет ад:
сгорят в домах младенцы, и сады
обуглятся от горя у воды...

И страх сковал меня — не от беды,
а что беду не чувствовал мой брат.

БРОДЯГА

Я бродяга, простуженный в доску,
нараспашку душа, хоть расстреливай,
в сердце вечная стужа Карелии...
«Эй, земляк, угости папироской!».

На квартире все те же симптомы —
до весны б дотянуть, человеки.
Трое суток на «скором» до дома,
три минуты пешком до аптеки.

Дай, аптекарша, мне «ностальгина»,
аспирин не уцепится за душу!
Знаешь, звали ее Ангелина,
да, наверно, давно уже замужем.

Дай, аптекарша, в каплях истому!
Дом на слом мой пустили и баньку.
Без меня схоронили маманьку —
не тоскуется чтой-то по дому.

Отстучать трое суток бы с миром,
да боюсь, не узнав, поколотят —
моя морда черна от чифира,
и прохожие рыла воротят.

Разве я не такой же трудяга?
Что ж проулком хожу неуклюже?
Разве вор я? Всего-то бродяга,
и к тому же смертельно простужен.

Я по тундре мотался с эвенком,
бил я с хантами рябчиков слету
и по мизерным самым расценкам
дни и ночи плутал по болоту.

Комары и мошка меня жрали,
бил буран меня в скулы с размаху.
Да бродяга я! Если б вы знали,
как играл на гитаре я Баха.

Кореша мои плакали брагой,
и рекли: «Кто обидит — придушим!»
Видно, Бах был таким же бродягой,
если так перевертывал души.

Жаль, пуста закадычная фляга,
жаль, давно не скликают на ужин,
не жалею, что стал я бродягой,
но жалею, что очень простужен.

Дай, аптекарша, мне «ностальгина»,
дай, мне слезную в каплях истому!
Помню, звали ее Ангелина,
да не помню дороги я к дому.

БОЛОТО

Весь мокрый от пота
и красный от злости
я брел по болоту,
как к лешему в гости.

Дневное Светило,
сверкнув позолотой,
за лес укатило.
Осталось болото.

Не помню, как бился
мой пульс, человеки,
но как провалился —
запомнил навеки.

От прежней гордыни
свело мне ключицы.
Вокруг, как в пустыне, —
ни зверя, ни птицы.

Хоть ветку, хоть метку,
хоть с глаза соринку,
хоть в пальцы травинку,
да нету травинки.

Меня зазнобило,
я вспомнил, так было:
так было, так было,
когда не любила.

Хоть окрик, хоть слово,
хоть взгляд твой с перрона,
хоть звон телефона,
да нет его, звона.

Тону с матюками
за мусор и ГЗОТы,
а там, под ногами,
гордины пустоты.

Болотные ГЗОТы
просты и зловещи:
тем глубже в болото,
чем больше трепещешь.

Оставил бы фото,
стихов тебе столько,
да всюду болота,
болота и только.

ЖЕНЩИНА

Как-то в день бесконечно дождливый
собралась она в край голубиный:

— Ненавижу себя нелюбимой,
презираю себя несчастливой.

На вокзал без плаща и без денег
прибежала наивнее лани.
Дома муж за газетой и телек,
таз посуды, белья две лохани.

Впопыхах у кассирши глумливой
попросила плацкарт до Парижа.

— Ненавижу себя нелюбимой,
но любимый, тебя я не вижу.

У багажного, смерти бледнее,
прошептала она:

— Будь, что будет...
Возлюбимы мадонны и феи,
а кто вьючную лошадь возлюбит?

Мчался поезд, дождями лупимый,
унося ее в сумрак стыдливый.

— Ненавижу себя нелюбимой,
презираю себя несчастливой.

В ЗИМНИЙ ДЕНЬ

В зимний день, одиноко шатаясь
по проулкам насквозь индевелым,
я заметил, как город, качаясь,
уплывал в индевении белом.
Плыли здания тихо и зримо,
плыли улицы, сжатые в нервы.
Сотню раз проходил я здесь мимо,
а гармонию вижу — в сто первый.
Сотню раз мы с тобой разминулись,
на сто первый —

столкнулись в трамвае.

Фонари от мороза согнулись,
и неслись светофоры, мигая.
Плыли скверы и парки живые,
плыло небо по вечному кругу.
Тыщу лет мы с тобою чужие,
в тыщу первый узнали друг друга.
Так уж было, я в том тебе клялся:
ты ко мне приходила Минервой.
Тыщу раз я на Землю являлся,
эту жизнь распознал в тыщу первый.
Индевели чугун и каменья,
индевея, все в мире мертвеет.
Понимаю коварство прозренья,
от которой душа индевеет.
Лишь вселенской гармонии внемлю,
вырываясь из будней и бредней.
Тыщу раз приходил я на Землю,
а уйду, вероятно, в последний.

ЭМИГРАНТ

Улетаю. Прощай, снегопад!
Оглянусь напоследок у трапа.
Затерялся во мгле Ленинград,
так и я затеряюсь когда-то.

Нити нервов своих обесточь!
У аптеки фонарь погасили.
На Россию спускается ночь,
белый снег повалил на Россию.

Ни к чему трепыхаться, гореть
и выкрикивать что-то в горячке.
Весь Союз — как огромный медведь,
что никак не проснется от спячки.

Не будите зарю над Невой,
не будите метели и вьюги.
Я засыпан уже с головой,
и от снега — тевтонские глюки.

Навевают снежинки вину,
и стыдит репродуктор, и тает.
С головой засыпает страну,
и страна, онемев, засыпает.

СКАЛОЛАЗ

Эй, послушай, наскальное диво,
ты прекрасно и этим, и тем,
виртуозно ты лезешь, красиво,
только мне не понятно, зачем?

Доберешься до первой плешины
весь в поту, и в бреду, и ни с чем,
прокричишь: «Я почти у вершины!»
Только мне не понятно, зачем?

Ты вернешься и будешь свободным
от вершин, рюкзаков, но опять
затоскуешь по скалам холодным.
Почему? И тебе не понять.

В ЭЛЕКТРИЧКЕ

В душном вагоне, где чай аметистовый,
в картах где каждый без масла все выкусил,
некий небритый, нетрезвый, неистовый
«сбацать» гитару у мальчика выпросил.
И расчехлив под бичье оробевшее,
и оробев, как от слова латинского,
вдруг заиграл он такое нездешнее:
из Палау, или даже Огинского.
Грязные пальцы и взгляд настороженный,
но расплывается что-то чудесное.
Мрачный, помятый, больной, неухоженный:
боже, откуда в нем это, небесное?
«Тише, маманя! Уймите же Тузика!»
Звуки, как сны, — то зовут, то теряются.
То ли вагон растворяется в музыке,
то ли сама она в нем растворяется.
Боже, о чем этот пьянице, рванище —
повесть ли струнная бомжа отпетого?
«В этом пространстве ваш дом и пристанище:
я, вероятно, пространства не этого».
Станция. Туча. К стеклу запотевшему
мальчик прильнул, заподозрив не лучшее,
крикнул бродяжке, под тучу сошедшему:
— Дядя, мелодии тоже заблудшие?
Тронулись. Эка беда с электричками.
Только пейзажи меняются бешено.
В душный вагон, словно спички напичканы,
люди и вещи, и все перемешано.

ПЕС

В день какой-то безразличный
туча выменем свисала.
С мордой очень непрактичной
пес крутился у вокзала.

Не давал обет безбрачья
бедный пес, как крестный фатэр,
полагая, что собачья
жизнь действительно не сахар.

Закадычной спелой дыни
он смотрел в глаза прохожим,
но клыки собачьи были
пострашней масонской логи.

И глядели люди косо,
и тряслись от визга груди,
и стреляла мысль барбоса
залпом тысячью орудий:

«Эти ляли, эти крали,
детки, бабки, страхагенты...
Говорят, на плац Пигале
тети есть. Интеллигенты».

Жизнь собачья нитью шалой
вшита в сирость и ненастье.
Не сказал никто, пожалуй:
«О, мое собачье счастье!»

Так он думал с голодухи,
озирая встречных майки:
«Неужели хоть пьянчухи
мне не сыщется в хозяйки?»

Ба! Идет один приятель —
за версту винищем тащит.
Помянув чужую мать,
рявкнул:
— Здравствуй, кнут собачий!

И добавил, хлопнув голень:
— Жизнь, барбос, — такая бяка.
Знаешь, я (ядренный корень!)
сам голодный, как собака.

Выдав это, бескультурно
тут же чмокнул песью морду.
И подумал пес угрюмо:
«Ну уж, дядя, к черту, к черту!»

И в лицо прогавкав «дудки»,
сделал вмиг собачьи ноги.
Может, вправду жизнь без будки
не такая уж собачья?

ПРОЩАНИЕ С ЮГАНЬЮ

Сиротеет в небесах,
листья падают в глазах.
По таежной по речонке
мы плывем в худой лодчонке,
котелки впились в печенки,
и хвоинки в волосах.

До свидания, Югань!
Утопил топор я... Дрянь...
Завтра «скорый» на Мытищи
увезет тебя, дружище.
Лайка бьет хвостом о днище,
и в кустах застыла лань.

От моторки сто колец.
лету нашему конец.
Глухари! Серега, вмажу!
Заряжай, авось помажу!
Трах-таррах! (Какая лажа)
Так и знал. Живи, наглец!

Вспомнишь, дикая река,
где корни, как рога,
перестук и передряги,
где плутали, как бродяги,
спотыкаясь о коряги,
два веселых дурака.

ГРОЗА

Небо грозовое
в бешеных раскатах.
Это бесы воют
над душой в заплатах.

Жду тебя, сгораю,
долгие три года.
Моя хата с краю
без громоотвода.

Небо грозовое
пасть свою разверзло.
Там, над головою,
то просвет, то бездна.

Жду, молю и холью,
вижу, как, страдая,
мчишься через поле
к моей хате с краю.

Мчишься без оглядки —
грудь под кофтой пляшет.
Каждый раз в десятку
молния шарашит.

Прибежишь — оттаешь
на ликерах сладких.
Моя хата с краю —
твое сердце в пятках.

Твой супруг брезгливый
протрезвеет резво.
Усмехнется криво
в грозовую бездну.

Из берданки старой
лупанет при встрече.
Моя хата с краю,
а твоя — далече.

БЛОНДИНКА

«Рост — метр шестьдесят четыре,
блондинка, двадцать восемь лет.
Я подарю любовь мужчине...»
Торшер и столик, шторы, плед.

И было чудным то мгновенье,
и убежал с плиты обед,
когда увидел объявление
мужчина сорока трех лет.

Прочел с ухмылкой, губы вытер,
победно в зеркало взглянул —
худой, седой, скупой, не рыцарь.
Побрился, галстук затянул.

И зимний вечер был картинкой,
и фонарей струился свет,
и снег окутывал блондинкой,
той самой, двадцать восемь лет.

И ноги не были, как гири,
и в новый двор не узок въезд,
и был не столь уж крив подъезд
для метра шестьдесят четыре.

Вот и звонок торчит изгоем,
вот открывает, хмурит бровь:
— Пришел за счастьем и покоем?
Ошибся. Я дарю любовь.

Ошибся. Вечер окна застил.
«Любовь ты даришь? А на кой,
когда она совсем не счастье,
и счастье вовсе не покой?»

«Дарю любовь! Ты где читала?» —
вздыхали в спину фонари.

— Ты выстрадай ее сначала,
затем уж ближнему дари!

Примерно так сказал мужчина
и сплюнул на углу в кювет.
«Рост — метр шестьдесят четыре.
Блондинка. Двадцать восемь лет...»

В ФАНСКИХ ГОРАХ

Это было летом в жутких Фанах:
на скалу, обуздывая кротость,
мы ползли в штормовках полудранных —
впереди вершина, сзади пропасть.

Вдруг из-под ноги сорвался камень,
вслед за ним — и я с немым испугом,
тут я понял, что настал мой *Ámen*,
на одном гвозде повиснув с другом.

Тут я понял смысл моей вершины
и тоску земную о высоком.
Без раздумий, с доблестью мышиной
я веревку тюкнул альпенштоком.

Дрогнул воздух, потемнели тучи,
крик в лавинах сгинул молчаливых.
Там, внизу, срываются покруче,
но спокойно средь аллей учтивых.

Через год мой друг вернется в Фаны
и, на пик взобравшись с матюками,
вдруг узрит сквозь рваные туманы,
мир — такая кроха под ногами.

Хоть бы раз с вершин увидеть это —
истекаю завистью в лощине.
Если бы живым был в это лето,
я бы вновь карабкался к вершине.

КСЮША

Ветер ли тучи вскочит,
тявкнет ли в будке Тяпа —
девочка спать не хочет:
— Папа, — канючит, — папа!

Замер один у трапа
в страшно далекой Туле.
— Что, гражданин, заснули?
— Нет, показалось...
— Папа!

Мама проснется, всхлипнет,
встанет, укроет чинно.
Рядом вздохнет мужчина —
папа другой...

Налипнет
снег на стекло. Растает.
«Як» растворится в бездне.
Сон не идет, хоть тресни.
Ну, не сошлись. Бывает...

Три отобьет нехстати,
возится дом тетерей.
Жизнь — это сплошь потери,
папа, увы, — искатель.

Чем опоишь, Анапа,
полукурортной драмой?
Но расставаясь с дамой,
тихо уловит:
— Папа!

Море ему и свисты,
пыль ему камнепадов.
Есть искатели кладов,
папа — искатель смысла.

С другом в горах ли рыщешь,
в шторм по волнам шныряешь,
но чем отчаянней ищешь,
тем веселей теряешь.

Вниз ли сорвется шляпа,
волны ли вслед оглушат:
— Ксюша, — кричит он, — Ксюша!
Только все тише:
— Папа!

ТЫ

В скверный день, черней холеры,
из квартирной пьяносферы
я во двор вечерний вышел
и вгляделся в небеса.

Сон под пятницу припомнил,
тут же столб фонарный обнял —
в доме гости бесновались,
хая видик из USA.

Станный сон: в ночном убранстве
мы неслись с тобой в пространстве.
Ты — вторая половина
моего земного «я».

Други что-то наливали,
что-то в рифму бормотали,
то души храня нарывы,
то порывы хороня.

Видит Бог, тебя повсюду
я искал, у жизни ссуду
на комфорт, уют и сытость
я не кланчил до гроба.

И другую обожая,
понимал, она чужая
и, не веря в сны и судьбы,
признавал, что не судьба.

Тыщу лет тебя искал я —
бес лукавил, зубы скаля.
Может, Бог тебя на Землю
не пустил потом за мной?
Как сказал один без злости:
«Все мы странники и гости».
Я устал... и намотался...
и мне хочется домой...

А в моей квартире топот,
вакханальный дикий хохот:
пьют, орут, дурачат телик,
как в созвездье Винолей.
Боже, как ты терпишь, Боже?
Погляди на эти рожи,
отпусти ее на землю
и прости... и пожалей...

С фонарями обнимаясь,
что-то вымолвить пытаюсь,
вдруг прозрел я, вдруг я вспомнил,
точно срок впотьмах истек:
в поднебесье, в туче серой
я узрел надежду (с верой),
приходящую, как вечность,
уходящую, как век.

НА СУРЕ

Расплескался рассвет по Суре,
оперился восток, как птенец.
Разбуди ты ее на заре,
пусть увидит зарю наконец.

Пусть ресницы свои распахнет,
как врата иноземцам страна.
Только ахнет, когда ей дыхнет
свежий ветер в лицо из окна.

Пусть заметит, что легче безе
пар над пашней и спиннинг в руке,
пусть промчится босой по росе,
всю плотву распугав на реке.

Пусть услышит волшебную трель
и увидит шелкОвую тюль
над Сурой, где плескалась форель
в ожидании царских кастрюль.

В ожидании новой зари
тут глядели волхвы на закат,
и сверкал от Суры до Твери
звездный тракт в миллиарды карат.

Дотлевают закаты в груди,
мы их дети уж тысячу лет.
Разбуди ты ее, разбуди!
Пусть увидит Российский рассвет!

СИНЬ НАД ГОРОДОМ

Возвращаюсь домой наконец,
с неба звезды глядят одичало.
То ли звездному царству конец,
то ли царству земному начало?

Синь над городом, сырость и лай,
мой фонарь — как звезда из колодца.
То ли первый пронесся трамвай,
то ли это последний несется?

То ли лето кончалось уже,
то ли осень уже начиналась.
Сзади липы стоят в неглиже,
ивам тоже недолго осталось.

Лайнер тучу пробил, как свинец,
и зевнул теплоход у причала.
Этой солнечной жизни конец
означает ли лунной начало?

Возвращаюсь домой. Ни черта
впереди, кроме ив из мочала.
Мой проулок глухой — как черта
все того же конца без начала.

ОСЕНЬ

Навевают листья нежность,
как на дев вишневый «Форд».
Ах, ты черт, какая свежесть,
ах, какое утро, черт!

Вот глаза твои и губы —
сладки губы и виски.
Наступает осень грубо,
словно Ржевский на носки.

Высь небесна и пространна —
божья милость, чудный сон.
Облака плывут, как манна,
нас в печальный взяв полон.

Воронье мозги клепают,
вороша в саду листву.
Точно, осень наступает,
как Деникин на Москву.

То автобусные рыки,
то трамвайные «кранты».
Что же ты, мон шер Деникин,
эх, Деникин, что же ты?

В лужах небо зреет сочно —
обхожу их от греха.
В эту бездну мне досрочно
провалится не ха-ха!

О, как манит бездорожье —
дали сини и туги,
и роса слезою божью
проникает в башмаки.

Тихо, сонно, даже в агро-
промах! Все ушли на фронт.
Наступает осень нагло,
как на дамочку виконт.

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ

Мне судьба не светофорит,
а «свистулькин» тупит взор.
Мимо Кразы, Мазы гонят
на продажный светофор.

Я в удушливом тумане
понимаю: не судьба.
Только медь в моем кармане,
тем не менее мне НА
тем не менее мне ДО
тем не менее мне Е
ХОТЬ
в каком-нибудь метро.

Хоть в какой-нибудь «Победе» —
век победы не видать!
Кошельком трясу из меди,
(черт!) да сколько же торчать?

Как апостол всех прощаю
и несусь под тормоза.
Каждой клеткой ощущаю
превосходство колеса.

Колесо поймет, прославит,
а на горле между тем
след протектора оставит,
как протекцию в Эдем.

Не с небес я, не из Мекки,
вот живое сердце, грудь:
только шкурой в этом веке
и прокладывать свой путь.

Не раздавите мне веры
в наш божественный исток.
Мент раскормленный, как мерин,
нервно ищет свой свисток.

Пополам с бедой и горем
на шоссе оставляю след.
Красный свет? А мы поспорим!
Признаю лишь Божий Свет.

Под колесами с бравадой
кувыркаюсь, словно бес.
Тем не менее, мне надо,
ехать надо позарез.

ПО БУССОЛИ

И снова бредем с Сережей
угрюмой тропой таежной.
Вокруг ни души. Темнеет.
Затерянной бездной веет.

Белы топоры от соли,
от мошек распухли рожи.
Где задан маршрут буссолью,
не стоит в обход, Сережа!

Врубаемся в чащу смело,
кромсаем листву и хвою.

— Да, кто так придумал, Серый:
железо впивать в живое?

— В тайге не дымишь, так гаснешь —
врата лишь исподний настезь.
А в жизнь по закону стада,
как в чащу, рубаться надо.

Врубаемся в жизнь красиво,
врубаемся в жизнь задорно!
Люблю я топор за силу,
но чувств не люблю топорных.

Идем напролом без веры,
но веруем в то, что видим:
собьемся с буссоли, Серый,
и век из тайги не выйдем.

1

В поле пустынном, в мазутную жуть
не восторгают промозглые вышки.
Парни весь день забивают в картишки,
Саня весь вечер мечтает курнуть.

В поле пустынном в осеннюю муть
пахнет соляркой и снежной кондрашкой.
Друг прикатил с огнедышащей фляжкой
на буровую машину взглянуть.

Глянул — застыл, как винновый валет:
— Ну, ничего себе... Вот железяка...
Сплюнул, бычок зачинарил со вкусом,
Скучно зевнул и завел драндулет...

2

Звезды бледны и за тучами прячутся,
тучи унылы, луна недоверчива.
С вахтой — «кранты»! Дизилечик артачится.
Тьма, кутерьма, да синдромчик от вечера.
Гром перебоями в мОзги и уши.
Значит, авария... Мать твою в душу!
Дизель смолкающий. Неразбериха.
Свет угасающий. Страшно и тихо.
Странно, безжизненно и не типично.
Что же нам так тишина непривычна?
Но в темноте прогремевшие слани:
— Саня!

3

Да, железяка меня подминает!
Я под движком на фуфайке распластан.
С гаек ключи то и дело срывает —
жрем только ржавчину с дизельным маслом.

Слани промозглы, и тьма равнодушна,
руки по локоть в солярке и ссадинах.
Сколько ж тепла человеческого нужно,
чтобы прогреть буровую громадину?

Тьма и железо лишь... Тьма и железо...
«Свет аварийный вдоль дизеля, справа!»
В ссадинах плоть, и душа вся в порезах.
Где ваш плакат, гражданин из Минздрава?

— Саня, рубильник! О, тьма дохристовья!
Поршень навыйлет. Застопорил классно.
Ржавчина сыплет запекшейся кровью,
той, что железо из нас повывасывало...

4

Как вампиры впились в недра,
соки, соки мы сосем.
Наши вышки смотрят в небо,
трубы смотрят в чернозем.

Оправданий не приемлю,
сорок труб под землю враз.
Мы высасываем землю —
жизнь высасывает нас.

Верховые — будто серьги,
и зарплата — как любовь.
Мы выкачиваем деньги,
а из нас качают кровь.

Бригадир-неандерталец
обескровлен, как лоскУт:
только чуть порежет палец,
и фонтаном бьет мазут.

Буровую марсельезу
по полям разносит век.
Мы — служители железа,
что такое человек?

Наши шеи, как ступеньки,
мы — машины кожура.
Деньги, деньги, только деньги,
остальное — все мура!

Все мура. Ни жен, ни дома —
бур заменит все, визжа.
Мы рабы металлолома,
что такое есть душа?

5

— Саня, ты скоро? Не вижу ни зги.
Вру! Я все вижу. Чернею с тоски.
Знаю, куда убегаешь ночами.
Виджу и слезы ее, и печали.

Дуру ломаешь... Сломать бы хребет...
Что ты скрываешь, бубновый валет?
Слышу, как ночью скрипит половица.
Там, на ветру, сигарета искрится.

Что воровски от братана таишь,
руку не тянешь, в глаза не глядишь?
Бросьте таиться. Противно. Все знают.
Я не люблю ее... Снова срывает...

6

Сорвана гайка, и сердце на срыве.
Дизель остыл.

Что-то сегодня мой голос в надрыве —
видно, простыл.

Что-то срываюсь. В горячке бывает.
Эх, босяки!

Кто-то срывается, кто-то срывает —
все пустяки.

Все пустяки. Суета бесконечна.
Мир в дураках.
Рвемся в значимость, срываемся вечно
на пустяках.

Что-то склоняюсь опять к укоризне —
разворошил...

Что-то все чаще срываюсь я в жизни.
Может, отжил?

7

Я не выискивал легких побед,
я презирал их.
В море болтался с семнадцати лет —
чалки да тралы.

Я на болоте терял сапоги,
плюхал по пояс.
Грызла мошка нас и рвал на куски
бешеный поезд.

Рельсы, тайга, неуют, пестрота,
пологи, гнусы...

Пусто в душе, за душой пустота —
скучно и грустно.

Друг недопонял: «Куда ты, чума,
каждой весною?
С нефтью там туго, зарплаты — нема,
хочешь, пристрою?»

Я не пристроиться — строить хочу.
Все заскорузло.
Вновь собираюсь, куда-то лечу —
скучно и грустно.

Но где ни бродишь, ни носишься где,
но где ни хлыщешь,
слышишь: «Коль деньги до фени тебе,
что же ты ищешь?»

Что я ищу? Вероятно, мечты,
те, что уснули.
Друг, даже ты не поймешь, даже ты —
нас обманули!

Служишь барменом, деньжищи гребя,
супер и мото...
Как суета засосала тебя,
хлеще болота.

Ты уважаем, опрятен, богат
где-то в Мытищах.
Я тут, под дизелем, младший твой брат,
Скучный и нищий.

Я не уйду, я останусь лежать,
годы пусть канут.
Должен когда-то и я рассказать,
как я обманут.

Тьма и железо. И Саня впотьмах
ищет рубильник.
Капает масло, мазут на губах,
пол — холодильник.

Я не выискивал тепленьких мест —
путь мой заказан.
Что же таскаю в себе этот крест,
будто наказан?

8

Что побледнела, глаза опустив,
что отвернулась, безмолвьем прошила?
Листья опали, свое отгрустив.
Не улыбайся, выходит фальшиво.

Я отпустил и тебя, и грехи,
стужа спустилась — за лето расплата.
На железяки меняем стихи —
жизнь такова, а не ты виновата.

От стихопроб отлучаю и грез,
нам на ветру не сгореть, не ужиться.
Как эти плечи дрожали от слез,
как им хотелось за что-то укрыться.

Сколько им выпало, сколько ушло,
сколько налипнет к ним грусти и слизи.
Ты говорила: «С тобой хорошо...
Ты для души, но, увы, не для жизни...»

Осень кончается жухлой травой,
стая ворон копошится у стана.
Синий вагончик обшарпанный твой —
рана моя, вожденная рана.

Я отпускаю тебя в эту даль,
бремя изложет, а время излечит.
Треснет чугун и рассыплется сталь,
только все вынесут хрупкие плечи.

Осень окончится днем кружевным,
изморозь ляжет на грязь осторожно.
Что ты мотаешься по буровым,
думаешь, вправду железо надежней?

Все хоть прогрей человечьим теплом —
душу не вдуешь в металл. Не бывает.
Дура, он бросит, он бросит потом!
Впрочем, до фени мне.
Снова срывает...

9

Снова срываюсь. Заткнуться, смолчать?
После притрется.
Знаю, что если сначала начать —
снова сорвется.

Друг, если как-то пристроишь под бок
в баре «Минута»,
как отравлю твой кофейный мирок
духом мазута.

Мне не отмывать до кона эту мразь
ассоциаций:
самая липкая, мерзкая грязь —
цивилизаций.

Не уползти, не сбежать, не взлететь
с этой фуфайки.
Буду просвета я ждать и вертеть
ржавые гайки.

10

Да, железяка с немой пустотой,
тьма аварийная, скользкие слани,
тьма и железо, солярки настой:
— Саня, ну что ты копаешься, Саня!

Полые трубы, простуженный звон,
вышка впилась в мирозданье ракетой,
ветер свистит с пустотой в унисон:
— Саня, ты скоро? Дождусь ли просвета?

Нефтью не пахнет тут... Слушай, друган,
может, исчезну, свихнусь, околею?
Если когда-то здесь хлынет фонтан,
Станет ли после кому-то теплее?

Содержание

КОЛУМБ	3
ПОРТ	5
ПЕЧАЛЬ	7
ВО ДВОРЕ	8
ИЗ БИБЛЕЙСКОГО СЮЖЕТА	10
ЗАПРЕТНАЯ МЕЧТА	11
ТАЛЛИНН	12
ЧЕРТОВКИ	14
КУПАНИЕ В ШТОРМ	16
В СКАФАНДРЕ	17
ТУМАН	19
ПРИТЧА	21
ШТОРМ	23
ЕЛЕНА	25
ЗА ШТУРВАЛОМ	27
МАРТ	29
ОТТЕПЕЛЬ	31
НЕЖНЕЙ ФУФАЙКИ	33
ОТКРЫТИЕ НАВИГАЦИИ	34
ВОЛНЫ	35
МАТРОС	36
ПРОГУДЕЛ ТЕПЛОХОД	37
ДЕРЕВУШЕЧКА	38
ВСТРЕЧА	40
В ОЖИДАНИИ ПОЕЗДА	42
ВАЛЕНТИНУ СИДОРОВУ	43
КОСТЕР	44
РЫСЬ	45
ДВОЕ В ТАЙГЕ	47

БЕЛАЯ НОЧЬ	49
МНЕ СНИЛСЯ СУЗДАЛЬ	50
БРОДЯГА	51
БОЛОТО	53
ЖЕНЩИНА	55
В ЗИМНИЙ ДЕНЬ	56
ЭМИГРАНТ	57
СКАЛОЛАЗ	58
В ЭЛЕКТРИЧКЕ	59
ПЕС	60
ПРОЩАНИЕ С ЮГАНЬЮ	62
ГРОЗА	63
БЛОНДИНКА	65
В ФАНСКИХ ГОРАХ	67
КСЮША	68
ТЫ	70
НА СУРЕ	72
СИНЬ НАД ГОРОДОМ	73
ОСЕНЬ	74
НА ПЕРЕКРЕСТКЕ	76
ПО БУССОЛИ	78
АВАРИЙНАЯ ТЬМА	79